

# МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ДЕТСТВО. В ЛЮДЯХ.  
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Эксклюзив: Русская классика

Максим Горький  
**Детство. В людях.  
Мои университеты**

«Public Domain»

1913-1923

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Горький М.**

Детство. В людях. Мои университеты / М. Горький — «Public Domain», 1913-1923 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-983354-3

Автобиографическая трилогия Максима Горького «Детство. В людях. Мои университеты», над которой он работал 10 лет – одно из самых значительных произведений русской реалистической литературы XX века. Сам писатель называл ее «той правдой, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной». Перед читателем трилогии буквально оживает провинциальная Россия конца XIX – начала XX столетия, с ее купеческими дворами и рабочими предместьями, волжскими портами, чередой колоритных персонажей и бесконечной глубиной понимания самой души русского народа, вечно балансирующей на грани между прекрасным и безобразным, между преступлением и святостью.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-983354-3

© Горький М., 1913-1923  
© Public Domain, 1913-1923

## Содержание

Детство	6
Глава I	6
Глава II	12
Глава III	20
Глава IV	31
Глава V	39
Глава VI	47
Глава VII	52
Глава VIII	59
Глава IX	70
Глава X	80
Глава XI	92
Конец ознакомительного фрагмента.	101

**Максим Горький**  
**Детство. В людях. Мои университеты**  
© ООО «Издательство АСТ», 2017

# Детство

*Сыну моему посвящаю*

## Глава I

В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Меня держит за руку бабушка – круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу; я пираюсь, прячусь за нее; мне боязно и неловко.

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

– Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, – только что встал на ноги; во время болезни – я это хорошо помню – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

– Ты откуда пришла? – спросил я ее.

Она ответила:

– Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком, – это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано.

– А отчего я шиш?

– Оттого, что шумишь, – сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, – она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, все на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, – причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами.

В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

– Скорее убирайте!

Окно занавешено темной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

– Ничего, не бойся, Лук!



Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; ее слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

– Дверь затворите... Алексея – вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

– Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это – не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

– Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница...

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго – возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребенок.

– Слава тебе, Господи! – сказала бабушка. – Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, – ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей – дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, – две уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы – я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер.

– Зарывай, – сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

– Отойди, Леня, – сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить.

– Экой ты, на Господи, – пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землей, а она все еще стоит.

Мужики гулко шлепали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви, среди множества темных крестов.

– Ты что не поплачешь? – спросила она, когда вышла за ограду. – Поплакал бы!

– Не хочется, – сказал я.

– Ну, не хочется, так и не надо, – тихонько выговорила она.

Все это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

– Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов; я спросил бабушку:

– А лягушки не вылезут?

– Нет, уж не вылезут, – ответила она. – Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льется мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

– Не бойся, – говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою – серый, мокрый туман; далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

– Варя, ты бы поела чего маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью – громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

– Саратов, – неожиданно громко и сердито сказала мать. – Где же матрос?

Вот и слова у нее странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но толстая – она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

– Эх, мамаша, – крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

– Что, отошел братишка-то? – сказал он, наклонясь ко мне.

– Ты кто?

– Матрос.

– А Саратов – кто?

– Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

– А куда бабушка ушла?

– Внука хоронить.

– Его в землю зароят?

– А как же? Зароят.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

– Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь! – сказал он. – Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, – вон как ее горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это – пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

– Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув вверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, – значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

– Это чей? Чей ты?

– Не знаю.



Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

– Это астраханский, из каюты...

Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем:

– Я тебе задам!

Шум над головою становился все тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошел к двери. Она не отворяется, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:

– Видно, в наказание господь дал, – расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости кляню! А ты спи! Еще рано, – солнышко чуть только с ночи поднялось...

– Не хочу уж спать!

– Ну, ино не спи, – тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. – Как это ты вчера бутыл-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она – темная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг новое, все меняется; зеленые горы – как пышные складки на

богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

– Ась? – встрепенется она. – А я будто задремала да сон вижу.

– А о чем плачешь?

– Это, милый, от радости да от старости, – говорит она, улыбаясь. – Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

– Еще!

– А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовый, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы – бородатые, ласковые мужики, – слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

– А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

– Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают ее водкой, меня – арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника – с медными пуговицами – и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое, стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос – вся она, мощная и твердая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

– Смеются люди над вами, мамаша!

– А господь с ними! – беззаботно ответила бабушка. – А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церквите, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

– Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ошестинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали

подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

– Папаша! – густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро глядя щеки ее маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

– Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх, вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

– Ну, скорее! Это – дядя Михайло, это – Яков... Тетка Наталья, это – братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

– Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

– Ты чей таков будешь?

– Астраханский, из каюты...

– Чего он говорит? – обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

– Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

– Ой, не могу!

– На што они тревожили тебя? – сердито ворчала бабушка. – Эко неумное племя!

И взрослые, и дети – все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, сустились сердитые люди, стай вороватых воробьев металась ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

– Сандал – фуксин – купорос...

## Глава II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, – слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил – да и по сей день живет – простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядя считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому – за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядя внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:

– По миру пушу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

– Отдай им все, отец, – спокойней тебе будет, отдай!

– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая, рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

– Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

– Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

– Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясаясь воя:

– Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

– Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

– Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же – маленький против нее – ткнулся лицом в плечо ей.

– Надо, видно, делиться, мать...

– Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

– Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой – езуит, а Яшка – фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

– Кто тебя посадил на печь? Мать?

– Я сам.

– Врешь.

– Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

– Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

– Эх, вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, – в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплатки, а все-таки он казался одетым и чище, и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом:

– Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое – яко же?» – она, пугливо оглянувшись, советовала:

– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

– «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

– Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

– Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

– У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

– А коли так – высечь надо!

И снова спросил меня:

– Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

– Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

– Это почему же?

– Говорил, битьем не выучишь.

– Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости на Господи! – сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

– Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

– А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

– Как это пороть? – спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

– Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть – значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить – одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, – это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, – дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

– Больно?

И всегда они храбро отвечали:

– Нет, нисколько!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

– Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

– Это Сашка Яковов устроил! – вдруг сказал дядя Михаил.

– Врешь! – крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

– Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядя начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, – тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых лукович Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

– Белое всего легче красится, уж я знаю! – сказал он очень серьезно.



Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:

– Ну и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

– Лексей, – позвал дед, – иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутком по голому телу. Саша взвизгнул.

– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука – и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

– Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

– Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

– Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

– Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

– Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

– Ты что не отняла его, а?

– Испугалась я.

– Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Стыдись!..

– Отстаньте, мамаша: тошно мне...

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

– Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

– Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша!

Сил нет...

– Кровь ты моя, сердце мое, – шептала бабушка.

Я запомнил: мать – не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

– Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более ржжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

– Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

– Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, – в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел-плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, а вот дошел до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ошестинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугунок, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господина Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, – он один ведет против реки огромную, серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой поразложим, бывалоче, костры – кашу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель – аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе – как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

– Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

– Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

– Ты глянь-ка, – сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, – вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запрет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал – переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаны али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, – видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

– Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, – он незабвенно просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было – киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, – ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганок. – Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

– За что?

– Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты вилай телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

### Глава III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядя тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, – он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатах, ему покрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крикал и тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

– Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядя говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

– А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хаут его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед – своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, – дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

– Хитрят все, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, – квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи – о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя – она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок – подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обернут, – задумчиво и таинственно рассказывала бабушка, – еле попискивает, зачоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

– Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, – стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили – целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, все брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубаше, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестьянскую снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

– Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, – уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала, – он, бывало, ужжал особенно, – совсем жук, ползает и ужжит на все горницы. Люби его – он простая душа!

Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, ее домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, – он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

– Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под стол. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать, лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив – говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то размычное, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михайлов; он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков все более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом – неприятно свистящим – бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —  
Выл бы Яков с утра до ночи:  
Ой, скушно мне!  
Ой, грустно мне!  
По улице монахиня идет;  
На заборе ворона сидит.  
Ой, скушно мне!  
За печкою сверчок торохтит,  
Тараканы беспокоятся.  
Ой, скушно мне!  
Нищий вывесил портянки сушить,  
А другой нищий портянки украл!  
Ой, скушно мне!  
Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

– Эх, кабы голос мне, – пел бы я как на Господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

– Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

– Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:



– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

– Режь поперек! – кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,  
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало, он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иванович? – посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь, Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,  
Плела девка кружева,  
Истомилась работой, —  
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги шупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, – и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом,

и уж нельзя было глаз отвести от нее – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни  
До полуночи плясала.  
Ушла с улицы последней,  
Жаль – праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

– Певцы да плясуны – первые люди на миру! – строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

– Тебе бы в трактирах плясать, – с ума свел бы ты людей!..

– Мне голос иметь хочется! – жаловался Цыганок. – Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после – хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много – Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

– Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

– Пускай! Мне глаза больше не надобны, – всё видел я...

Пил он не пьянея, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

– Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

– Да, господне дитя...

Все было страшно интересно, все держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутрачивающая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

– Что это такое, что? – выл он, обливаясь слезами. – Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

– Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

– Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

– Полно, Яша, Господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

– На Господи, на Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

– Все бы тебе знать! – неохотно, против обыкновения, сказала она. – Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

– Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помещивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

– Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

– Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказывал:

– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, – понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием – просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит все насквозь.

– Как забил? – говорит он, не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она все скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

– Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием.

Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

– Нет, это все без толку! Тебе – не легче, а мне – гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

– Ты ведь не хотел?

– Не хотел, да вот сунул... Так уж как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену; одевал короткий, до колен, полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу.

– Не едет?

– Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

– Эхма, – говорила она сыновьям и деду, – погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, – накажет вас господь!

Дедушка хмуро ворчал:

– Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядя, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

– Всего купил, как сказано было? – спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

– Все, как надо, – весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

– Не бей голиц, за них деньги даны, – строго кричал дед. – Сдача есть?

– Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

– Опять что-то много ты привез. Гляди, однако, – не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядя весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели:

– Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он спрашивал Цыганка:

– Тебе отец сколько дал?

– Пять целковых.

– А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

– Четыре с гривной.

– Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги растят?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

– Ты нам, Ванька, по косушке поставь, – лениво говорил он.

Бабушка распрягала коня.

– Что, дитяtko? Что, котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, богова забава!

Огромный Шарап, взмахивая густой гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

– Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

– Уж так, бабани, хорош мерин, так умен...

– Поди прочь, не верти хвостом! – крикнула бабушка, притопнув ногою. – Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

– Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдет, – невесело говорила она. – Любит воровать, баловник! Раз попробовал – ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолodu бедности-горя досыта отведал – под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

– Тут, Леня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве – забьют до смерти...

И еще, помолчав, она тихонько сказала:

– Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

– А то тебя будут бить до смерти...

– Не достигнут, – вывернусь: я ловкий, конь резвый! – сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. – Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то все у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.

Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

– Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

– Не знаю.

– А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

– А меня?

– Ты – не Каширин, ты – Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

– Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, на Господи! Вот ожег бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонен к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, – тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтоб поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядя, в одинаковых черных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

– Не сдюжишь? – спросил Григорий.

– Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

– Отворяй ворота, слепой черт!

А дядя Яков сказал:

– Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

– Гляди же, не перемагайся! Пошли с богом!

– Плешивая дура! – крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

– Может, сегодня дедушка не посетит тебя, ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на грудь приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

– Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Савватеич, козырь был, он все понимал, – за то дедушка и не любил его, не признавал...

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, – сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня:

– Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, – отстанет...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

– Стой-ко? – вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая – на ноги... Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в черный потолок; темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

– Споткнулся он, – каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

– Упал, а его и придавило, – в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

– Вы его и задавили, – глухо сказал Григорий.

– Да, – как же...

– Вы!

Кровь все текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

– Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, – шептал дядя Яков, – а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

– Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

– И то.

– Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

– Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая:

– Голубчик ты мой, ястребенок утешный...

Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжело ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

– Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

– Волки!

И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

– Знаю я – он вам поперек глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что – говорю – поделаешь? Кони – чужие, вожжи – гнилые. Мать, невзлюбил нас господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

– Вон, окаянные!



Все, кроме деда, высыпались из кухни.  
...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

## Глава IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо укутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другую неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные – во льду – стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая; темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

– Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь? – тихонько говорит она. – Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдерживать улыбки; тогда она рычит:

– А-а, так ты над бабушкой-старухой шуточки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

– Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всем, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

– Ты, на Господи, сам знаешь, – всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет – неведомо. А отец – он Якова больше любит. Али хорошо – неровно-то детей любить? Упрям старик – ты бы, на Господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

– Наведи-ко ты, на Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, на Господи, Григорья, – глаза-то у него все хуже. Слепнет – по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет!.. О, на Господи, на Господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, – ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

– Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

– Расскажи про бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

– Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи

не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господ ангелы летают во множестве, – как снег идет али пчелы роятся, – али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин – каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечет его!» И так все, про всех и всем он воздает, по делам – кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им – дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

– Ты это видела?

– Не видала, а знаю! – отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

– Бога видеть человеку не дано – ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и по скорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, – обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, – ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у бога и на небе и на земле, так хорошо...

– А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

– Слава пресвятой богородице, – все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме все хорошо; мне казалось, в нем живется хуже и хуже.

Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

– Господи, приberi меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

– Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, – я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

– Вот и ладно, и пойдем! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее – вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

– Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

– Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она – кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

– Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет – устанет, а отдохнув – опять. И вожжами, и всяко.

– За что?

– Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, – еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

– Разве он сильнее тебя?

– Не сильнее, а старше! Кроме того – муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на нее и говорила умиленно:

– Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

– Запылилася, окоптела, – ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это «Двенадцать праздников», в середине же божия мать Феодоровская, предобрая. А это вот – «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе»...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина – в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

– Иду как-то Великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молочная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит верный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», – говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, – расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

– Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я – к двери – нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубенки мышьиные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросычьи – ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как ворочилась в себя – свеча еле горит, корыто простыло, стираное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

– А то, проклятых, видала я; это тоже ночью, зимой, выюга была. Иду я через Дюков овраг, где помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санных тоже всё черти; свистят, кричат, колпаками машут, – да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они – люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видала...

Не верить бабушке нельзя – она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгальчеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

– Олеша, милый, таракан лезет, задави Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

– Нет нигде, – говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

– Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась – я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

– Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной, мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

– Около порога он... под сундук пополз...

– Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

– А непонятно мне, на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп – значит, стены грязные; вошь нападает – нездоров будет человек, – все понятно! А эти – кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сильным голосом сказал:

– Ну, мать, посетил нас господь, – горим!

– Да что ты! – крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

– Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! – строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

– И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

– Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

– Цыц, пес, – сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь

все разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полущубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попой, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

– Купорос, дураки! Взорвет купорос...

– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутылку купоросного масла.

– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, – горю, али не видно?..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено – в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, – бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

– Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

– А ты не бойся! – басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. – Али я тебя оставляю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

– Василий Васильич, Лексея нет...

– Пошла, пошла! – ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

– Уйди! – крикнула она. – Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

– Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

– Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, – только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

– Это кто! Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

– Мать?

– Ой?

– Обожглась?

– Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой.

– Умылся бы, – сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

– Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

– На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

– Григория рассчитать надо – это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

– Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх, вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

– Боялся ты?

– Нет.

– И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

– Пожар – глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он – дурак, а то – вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай, спи. Чего сидишь?

Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: только что лег в постель – меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:

– Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, все более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

– Да ты затопи сначала печь-то! – командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

– Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

– Что это делается?

– Тетка Наталья родит, – равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.



Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее.

– Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю – лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

– Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь, как стенает тетка! Забыли про нее; она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала – с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть...

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

– Царские двери отворить надо...

– Дайте ей масла лампадного с ромом да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи...

Дядя Михайло назойливо просил:

– Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком.

– Дурак, – сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

– Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:

– Оправдания же нам нет, никому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты, – свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

– Что болит?

Все болело; голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом, – все кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди – священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и еще много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды, где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

– На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

– Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня – она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

– А где бабушка?

– Там, – ответил дядя, махнув рукою, и ушел все так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки, – я это знал, – но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла

какая-то опухоль; все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

– Рученьки мои, рученьки больно...

## Глава V

К весне дядя разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо оцетинившийся голыми прутьями ивняка.

– Розог-то! – сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. – Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка, – смотреть на все это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

– Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну, вот, Олеша, голуба душа, зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало все!

А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, все готовились к чему-то и звали:

– Акулина Ивановна!

Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:

– Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная – берите гусяного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите все это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть – ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте, – вредно!

Иногда она задумчиво советовала:

– Вы, матушка, в Печоры, к Асафу-схимнику сходите, – не умею я ответить вам.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

– Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядерн был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разное: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще – кавказский...

Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неутомимой, неустанно доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

Однажды я спросил бабушку:

– Ты – колдунья?

– Ну, вот еще выдумал! – усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: – Где уж мне: колдовство – наука трудная. А я вот и грамоты не знаю – ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила Богородица.

И открывала предо мною еще кусок своей жизни:

– Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную, – живи-де, как сама знаешь, – а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та пора люди-то богаче жили, добрее были, – славные балахонские плотники да кружевницы, – все напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, – голосок у ней не силен был, а звонок, – и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удастся чего – слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам: ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка, знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит, смирной буду, н-ну... А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.

И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.

– Что мне сахару не даешь? – капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку.

Она отвечала ласково, но твердо:

– С медом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крикая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

– Ты гляди, не помереть бы мне!

– Не бойся, догляжу.

– То-то! Теперь помереть – это будет как бы вовсе и не жил, – все прахом пойдет!

– А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:

– Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей: может, жены да новые дети попридержат их – а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно сверкают стекла в окнах домов, – дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребяташки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:

– Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?

– Буки.

– Попал! Это?

– Веди.

– Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?

– Добро.

– Попал! Это?

– Глаголь.

– Верно! А это?

– Аз.

Вступилась бабушка:

– Лежал бы ты, отец, смиренно...

– Стой, молчи! Это мне впору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячее, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задышался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «Земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Григория, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

– Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

– Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо:

– Бросила тебя мать-то поверх земли, брат...

Бабушка встрепелулась:

– Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..

– Не сказал бы – горе нудит... Эх, какая девка заплуталась...

Он резко оттолкнул меня.

– Иди, гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду...

Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нем, на горке, – мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.

– Бырь пришел! – кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. – Лупи его!

Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, куда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказания, а он только ругался да замахи-вался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

– Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

– Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

– Хитер ты али простодушен, а?

– Не знаю...

– Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность – та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам псалтирь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.

– Буки-люди-аз-ла – бла; живе-те-иже-же – блаже; наш-ер – блажен, – выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:

– Блажен муж, – это дядя Яков?

– Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж! – сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.

И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

– Н-да, по игре да песням он – царь Давид, а по делам – Авессалом ядовит! Песнотворец, словотер, балагур... Эх, вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот – далеко ли?

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, теплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

– Дедушка!

– Ась?

– Расскажите что-нибудь.

– А ты читай, ленивый мужик! – ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. – Побасенки любишь, а псалтирь не любишь...

Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше псалтиря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.

Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.

– Ну, ин ладно! Псалтирь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и все плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца.

– Однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.

– Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей бра-тии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал, гарнизонные вступились, – разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти – народ ловкой, догадливый; довольно даже веселые – песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие – разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал: вконец – говорит – погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью:

– Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, – она калачи пекла да продавала, – стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий – прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это – нельзя понять! Многие поумирали от холода, они – люди теплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Выучился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он – черный, злой! Плохо говорил, а понять можно, и верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то по Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в евангелии, ни в деяниях, ни того паче во псалтири про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне... Вот псалтирь кончим, начну я с тобой евангелие читать.

Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.

– Рассказывайте, – напоминаю я тихонько.

– Ну, вот, – вздрогнув, начинает он, – французы, значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама, – это, стало быть, моя дама, барыня моя, – а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у нее не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне

чахнуть начал и в день Николы Вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нем; нежным он был, возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал...

Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя – горячо, быстро и хвalebно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:

– Запомни! Ты это запомни!

Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывалое, и я замаял, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:

– А кто лучше: французы или русские?

– Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, – сердито ворчит он и добавляет:

– В своей норе и хорек хорош...

– А русские хорошие?

– Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованный был народ. А теперь вот все на воле – ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, – что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много; взглянешь – человек, а узнаешь – скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего...

– Русские сильные?

– Есть силачи, да не в силе дело – в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь все сильней.

– А зачем французы нас воевали?

– Ну, война – дело царское, нам это недоступно понять!

Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:

– Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба – вся разная: осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали – Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов, я те про них после скажу...

Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.

И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.

Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимающим голосом:

– А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком, бишь, это году?..

Подумав, дед обстоятельно отвечал:

– Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.

– А верно! Еще боялись мы их...

– То-то.

Я спрашивал: кто такие олончане, и отчего они бегали по лесам, – дед не очень охотно объяснял:



– Олончане – просто мужики, а бегали из казны, с заводов от работы.

– А как их ловили?

– Ну, как? Как мальчишки играют: одни – бегут, другие – ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом: ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.

– За что?

– За спрос. Это – дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит, – нам не понять...

– А помнишь, отец, – снова говорит бабушка, – как после большого пожара...

Любя во всем точность, дед строго спрашивает:

– Которого большого?

Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песни поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.

– Сколько прожито, сколько видано! – тихонько бормотал дед.

– Али плохо жили? – говорила бабушка. – Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!

– Это – в сорок восьмом году, в самый венгерский поход; кума-то Тихона на другой день после крестин и погнало...

– И пропал, – вздыхает бабушка.

– И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара...

– А ты полно, отец...

Он сердился, хмурился.

– Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали – в лукошко кладем, а господь-от вложил в руки нам худое решето...

Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно побрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.

– А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты, ведьма!

В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь:

– Господи, али я грешней других? За что-о?

И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.

Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:

– Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же – споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один...

Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.

Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:

– Эх, дурак...

И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки:

– Уйди, убью!

– Дурак, – повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она не торопясь перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.

– Старая шкура, – шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.

Я сидел на лежанке ни жив ни мертв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нем – такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:

– Ну, Господи...

Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.

– Тебе больно?

Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:

– Ничего, зубы целы, губу разбил только.

– За что он?

Выглянув в окно на улицу, она сказала:

– Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё... Ты ложись с богом, не думай про это...

Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:

– Кому я говорю – ложись? Неслух какой...

Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее: в синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате – темно.

Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:

– Спи спокойно, а я к нему спущусь... Ты меня не больно жалеешь, голуба душа, я ведь тоже, поди-ка, и сама виновата... Спи!

Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.

## Глава VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтирь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не поздоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

– Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ – шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозит: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошло к носу, стало жутко похоже на топор.

– Слышишь, мать? – взвизгнул он. – Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову:

– Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Натек-ка!

Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил.

– Тятенька, я-то при чем?

– Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф.

– Я же защитить вас приехал...

– Ну? – насмешливо воскликнул дед. – Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кося лисе этой чего-нибудь в руку – кочергу, хошь, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат – бей его в мою голову!..

Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол.

– Коли вы мне не верите...

– Верю? – крикнул дед, топнув ногой. – Нет, всякому зверю поверю – собаке, ежу, – а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

– Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее...

И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли; сквозь пыль высовывается опухолью крупный булыжник. Налево она тянется далекой, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам – старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко разворачивается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами; в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее – тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядя зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна – переулочек, застроенный маленькими пестрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трех Святителей. Если смотреть прямо – видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не

спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наливается жидким, теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под грубообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил; он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, – дверь визжит, дребезжат стекла.

Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

– Кто это? – грубо спрашивает он, не открывая. – Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай!

– Я боюсь там...

– Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней; в доме напротив – музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

– Экой ведь благодатный, – какие стихи знает. Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, рассказывает, а бабушка – рядом с ним слушает, расспрашивает.

– Погоди-ка, да разве Божия мать и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

– Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах; мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгальчева вместе с Божией матерью, и Богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,  
Со вся земли злата, серебра;  
Не прикрыть тебе, душа алчная,  
Всем добром земли наготу твою...

И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:

Ты прости, пресвятая Богородица,

Пожалей мою душеньку грешную.  
Не себя ради мир я грабила,  
А ведь ради сына единого!..

И Богородица, добрая, как бабушка, простит ее, скажет:

Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,  
Ой ты, зла-беда христианская!  
А иди, ино, по своем пути —  
И стезя твоя, и слеза твоя!  
Да не тронь хоть народа-то русского,  
По лесам ходи да мордву зори,  
По степям ходи, калмыка гони!..

Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне; меня будит топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота; раздается гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечьи головы — улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут.

... У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:

— Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года — от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

— У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан; они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать: полки, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще зывала:

— Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:

— Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упустить из глаз бабушку, боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услышав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

– Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошел к окну, бабушка подхватила его под руки:

– Куда ты, куда?

– Зажги огонь! – задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его пред собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко:

– Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна, и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

– Не попал! – завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

– Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то – Сибирь ему; ведь разве он поймет, в ярости, что Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

– Пускай убьет...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

– Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади них топталась бабушка, умоляя:

– Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.

Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, – нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

– По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко – только голову просунуть; дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

– Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил ее колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинувшись на спину, успев еще крикнуть:

– Миш-ша, беги...

– А, мать? – страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке.

– Кость целая?

– Ох, переломилась, видно, – сказала бабушка, не открывая глаз. – А с ним что сделали, с ним?

– Уймись! – строго крикнул дед. – Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его... Ну, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

– За костоправкой я послал, – ты потерпи! – сказал дед, присаживаясь к ней на постель. – Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!

– Отдай ты им все...

– А Варвара?

Они говорили долго: бабушка – тихо и жалобно, он – крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

– Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак...

## Глава VII

Я очень рано понял, что у деда – один бог, а у бабушки – другой.

Бывало – проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтоб не разбудить меня:

– А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает перед иконами, – вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко, истоиво крестилась и шумно, горячо шептала:

– Богородица преславная, подай милости твоея на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячее и умиленнее:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

– Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки.

– Иисусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради...

Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго: нужно было ставить самовар, прислуги дед уже не держал, и, если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие, темные губы, а за чаем ворчал:

– Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

– Он поймет, – уверенно отвечала бабушка. – Ему что ни говори – он разберет...

– Чуваша проклятая! Эх, вы-и...

Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластена и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

– Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

– Думаете – скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарапа, она беседовала с ним:

– Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И все-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, – стыдно. Он вызывал у меня только



непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковь.

– Ну, и дура вы, сударыня моя, – спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить больше эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур, или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, – но все это мне не нравилось; нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашла меня, где подбает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

– Я-а тебя, – погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

– Это ты зачем сделал?

– Она в тебя морковь кинула...

– Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнешься! Какой защитник – взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке – он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

– Вот что, Ленька, голуба душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые – люди порченые; они богом испытаны, а ты еще нет, – и живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет. Понял? А кто в чем виноват – это дело не твое. Господу судить и наказывать. Ему, а не нам!

Она помолчала, понюхала табак и, прищулив правый глаз, добавила:

– Да, поди-ка, и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина.

– Разве бог не все знает? – спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила:

– Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться.

С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог – существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

– «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, – даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову; брови у него приподняты, ошетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

– «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит:

– «Тебе единому согреших, – отврати лице твое от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоныше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

– «Врача родшая, уврачуй души моя многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко вызывает, со слезами на зеленых глазах:

– «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеша дел, отнюдь оправдающих мя!»

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодеясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржанных лепешек с творогом, – есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед все еще молится, качается, взвизгивает:

– «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий, – знаю и напряженно слежу: не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

– Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

– А ты сегодня «довлеет» пропустил!

– Врешь? – беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

– Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

– На-ко вот! – восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

– А скушно, поди-ка, Богу-то слушать моление твое, отец, – всегда ты твердишь одно да все то же.

– Чего-о это? – зловеще протянул он. – Чего ты мычишь?

– Говорю, от своей-то души ни словечка Господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

– Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о неодолимой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди – и потоплены, еще согрешили – и сожжены, разрушены

города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он – меч над землею, бич грешникам.

– Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью! – постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

– Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

– Ну, конечно! Еще бы не слушался ты?!

– А как же бабушка?

– Ты ей, старой дуре, не верь! – строго учил он. – Она смолodu глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

– А кто такие чиновники?

– Эх тебя мотает! – усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

– Это бога не касемо, чиновники, это – человеческое! Чиновник суть законед, он законы жрет.

– Какие законы?

– Законы? Это значит – обычаи, – веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами. – Живут люди, живут и согласятся: вот этак лучше всего, это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребяташки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть закон!

– А чиновники?

– А чиновник озорнику подобен, придет и все законы порушит.

– Зачем?

– Ну, этого тебе не понять! – строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

– Надо всеми делами людей – Господь! Люди хотят одного, а он – другого. Все человецье непрочное. Дунет Господь, – и всё во прах, в пыль.

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

– А вон дядя Яков поет:

Светлы ангелы – божие чины,

А чиновники – холопи сатаны!

Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеется.

– Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! – сказал он. – Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это – кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками.

И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

– Эх, вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, – и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

– Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы, – отслужил бы я молебен Николе Угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

– Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать, – нет у него, Николы-бабушки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною псалтирь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

– «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю... И соблюди нас от всякого мечтания... Господи, покрый мя от человек некоторых... Дажь ми слезы и память смертную...»

А бабушка нередко говаривала:

– Ой, как седни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу...

Дед водил меня в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: все, что читают священник и дьячок, – это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, – все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, – бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребята относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

– Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!

– Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силен и в бою ловок, – это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

– Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а! Как я тебя начну с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

– Ну, что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только кричал и мычал:

– Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, – жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята срамливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копченый человек, в тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение, – думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно.

Мальчишки бежали за ним, лукавя камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

– Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди – смерть в кармане! – кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами, – в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

– Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь покрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слышал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

– Григорий ходит по улице!

– Ну? – беспокойно и жалостно восклицала она. – На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему – было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.

– Ты что же бегаешь от него? – тихо спросила она. – Он тебя любит, он хороший ведь...

– Отчего дедушка не кормит его? – спросил я.

– Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом, пророчески сказала:

– Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

– Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх, вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

– Эх, вы-и...

Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониha. Она появлялась в праздники, огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки, – она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надуту, как пузырь, большие, серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:

– Деточки мои, где вы?

Я спрашивал бабушку: что это?

– Нельзя тебе знать! – ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот ее увез куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети ее – мальчик и девочка – померли уже, муж проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция...

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна – большой такой, добрый зверь – и густым голосом твердит переимчивой, черной, как уголь, птице:

– Ну, проси: скворушке – кашки!

Скворец, скосив на нее круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему.

– Да ты не балуй! – серьезно говорит ему бабушка. – Ты говори: скворушке – кашки!

Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки, – старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит:

– Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты – все можешь, все умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на «Дра-астуй...».

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает:

– Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

– Убери его, дьявола, убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжелым и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый...

## Глава VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травой, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской; на нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая, довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа – постройки Бетленга; в глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, искосырянное глубокими оврагами, с тяжелой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любить – не рада,  
Искать другую надо!  
Умей ее найти.  
И ждет тебя награда  
На верном сем пути!  
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

– Вух, вух-вух-хх...

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков – маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, – и невеселый, длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна – в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

– Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

– Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и

неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны – в пятнах и заплатках, на босых ногах – стоптанные туфли. Бедные – не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное – со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр – аптекарем и колдуном, дед – чернокнижником, фармазоном.

– Чего он делает? – спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

– Не твое дело; молчи, знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

– Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

– Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

– Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

– Здешний внук...

– Ага, да, – сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счел нужным пояснить ему:

– Я не Каширин, а Пешков...

– Пешков? – неверно повторил он. – Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

– Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки, – в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

– Скверно пахнет?

– Да!

– То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» – подумалось мне, и я строго сказал:

– Если скверно, так уж не хорошо...

– Ну? – воскликнул он, подмигивая. – Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?



- В козны?
- В козны, да?
- Играю.
- Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет!
- Хочу.
- Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

- Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне. Хорошо?

Это меня презрительно обидело.

- Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

- Ну-ко, подстригай малину, – сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

- Хорошее Дело чего строит?

– Горницу портит, – сердито ответил он. – Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему – съезжал бы!

- Так и надо, – согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интересные собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика, часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Степа играл с татаринцом в карты; Валея хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

- Аш-шайтан!

Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

– Пожалуйте-ко милостью, покушайте! – ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня – орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неумный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

- Мне сверху надо говорить, – сверху-то лучше!

Я поместился у ног ее, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка рассказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:

Жил-был злой воевода Гордион,  
Черная душа, совесть каменная;

Правду он гнал, людей истязал,  
Жил во зле, словно сыч в дупле.

Пуще же всего невзлюбил Гордион  
Старца Мирона-отшельника,  
Тихого правды защитника,  
Миру добродее бесстрашного.  
Кличет воевода верного слугу,  
Храброго Иванушку-воина:  
– Подь-ка, Иванко, убей старика,  
Старчища Мирона кичливого!  
Подь да сруби ему голову,  
Подхвати ее за сиву бороду,  
Принеси мне, я собак прокормлю!

Пошел Иван, послушался.  
Идет Иван, горько думает:  
«Не сам иду – нужда ведет!  
Знать, такая мне доля от господ».

Спрятал вострый меч Иван под полу,  
Пришел, поклонился отшельнику:  
– Все ли ты здоров, честной старичок?  
Как тебя, старца, господь милует?

Тут прозорливец усмехается,  
Мудрыми устами говорит ему:  
– Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!  
Господу богу все ведомо,  
Злое и доброе в его руке!  
Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне!

Стыдно Иванке пред отшельником,  
А и боязно Ивану послушаться.  
Вынул он меч из кожаных ножен,  
Вытер железо широкой полкой.

– Я было, Мироне, хотел тебя убить  
Так, чтобы ты и меча не видал.  
Ну, а теперь молись господу,  
Молись ты ему в останний раз  
За себя, за меня, за весь род людской,  
А после я тебе срублю голову!..

Стал на колени старец Мирон,  
Встал он тихонько под дубок молодой,  
Дуб перед ним преклоняется.  
Старец говорит, улыбаясь:

– Ой, Иван, гляди: долго ждать тебе!  
Велика молитва за весь род людской!

Лучше бы сразу убить меня,  
Чтобы тебе лишнего не маяться!

Тут Иван сердито прихмурился,  
Тут он глупенько похвастался:  
– Нет, коли сказано, так сказано!  
Ты, знай, молись, я хоть век подожду!

Молится отшельник до вечера,  
С вечера он молится до утренней зари,  
С утренней зари он вплоть до ночи,  
С лета он молится опять до весны.  
Молится Мироне год за годом,  
Дуб-от молодой стал до облака,  
С желудя его густо лес пошел,  
А святой молитве все нет конца!

Так они по сей день и держатся:  
Старче все тихонько богу плачется,  
Просит у бога людям помощи,

У преславной богородицы – радости,  
А Иван-от воин стоит около,  
Меч его давно в пыль рассыпался,  
Кованы доспехи съела ржавчина,  
Добрая одежда поистлела вся,  
Зиму и лето гол стоит Иван,  
Зной его сушит – не высушит,  
Гнус ему кровь точит – не выточит,  
Волки, медведи не трогают,  
Выюги да морозы не для него.  
Сам-от он не в силе с места двинуться,  
Ни руки поднять и ни слова сказать.  
Это, вишь, ему в наказание дано:  
Злого бы приказу не слушался,  
За чужую совесть не прятался!  
А молитва старца за нас, грешников,  
И по сей добрый час течет ко господу,  
Яко светлая река в окиян-море!

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

– Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

– Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это – страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет, – глаза его были полны слез; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

– Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю эдакого...

– Нет, именно это! Это – страшно русское, – возбужденно выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

– Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжело вздыхала там.

Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:

– Рассердился будто?

– Не, – ответил дядя Петр. – Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр не торопясь говорил:

– Господа все такие – капризники!

Валей угрюмо буркнул:

– Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Петр тянул:

– До слез дошел. Видно – бывало, шука клевала, а ноне и плотва – едва...

Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, – так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихий, измятый, явно сконфуженный.

– Вчера я шумел, – сказал он бабушке виновато, словно маленький. – Вы не сердитесь?

– На что же?

– А вот, что я вмешался, говорил?

– Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно – тихо слишком.

Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:

– Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, – и вдруг вскипит в душе, прорвет... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

– А вы бы женились...

– Э! – воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табак и потом строго наказала мне:

– Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»; в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты, – она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, – такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад и там, в яме, увидел его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

– За мной?

– Нет.

– А что же?

– Так.

Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:

– Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

– Сиди. Будем сидеть и молчать. Ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

– Да.

– Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо; каждый звук – шорох птицы, шелест упавшего листа – кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине – она обняла всю землю и наполняет грудь.

В такие минуты рождаются особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создается ее лицо.

Прижимаясь к теплему боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

– Славно, брат? То-то! А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

– Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

– Хороша у тебя бабушка, – о, какая земля!

Закрыв глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

Это ему в наказание дано:

Злого бы приказу не слушался,

За чужую совесть не прятался!...

– Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперед, спросил:

– Писать умеешь?

– Нет.

– Научись. А научишься – записывай, что бабушка рассказывает, – это, брат, очень годится...

Мы подружились. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, куёт железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилой. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

О роза Сарона...

– Это чего ты делаешь?

– Одну штуку, брат...

– Какую?

– А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...

– Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

– Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, – ерунда...

– А чем за хлеб платить?

– Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

– Видишь? И за говядину тоже...

– И за говядину...

Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит:

– Никак не могу я спорить с тобой, – забиваешь ты, брат, меня; давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травой, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупно, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, – Хорошее Дело говорит тихонько:

– Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

– Важен генерал, а не очень умный...

Идет неуклюжий Валея, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надут, он смотрит, прищурясь, в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, – медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами.

– Точно медаль получил, любитесь...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

– Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

– Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, – он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

– Врешь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

– Ну, врешь, брат...

– А почему ты знаешь?

– Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, – свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

– Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и еще какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и был, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

– Прекрасно, именно так и было все! Очень хорошо!

Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

– Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, – понимаешь? Все!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно, я все сказал.

– Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, – это нехорошо запоминать! – сказал он.

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Ключникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчишке, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

– Это – ерунда; такая сила – не сила! Настоящая сила – в быстроте движения; чем быстрее, тем сильнее – понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Ключникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника.

– Всякую вещь надо уметь взять, – понимаешь? Это очень трудно – уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, – именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело все больше не любило; даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека.

– У меня одежда пахнет кислотами – вот кошка и не идет ко мне, – объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

– Пошто ты торчишь у него? – сердито спрашивала бабушка. – Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

– Бабушка тебя боится; она говорит – чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

– Я, брат, вижу уж! – тихонько говорил он. – Это, брат, грустно, а?

– Да!

– Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

– Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

– Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

– Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

– Это кто сказал?

– Дедушка...

– Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

– Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

– Послушай-ко, – почти шепотом говорил он, улыбаясь. – Ты помнишь, я тебе сказал: не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

– Обиделся ты на меня, да?

– Да...

– А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, – так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его; я так и сказал:

– Это я давно понял!

– Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заньюло сердце.

– Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

– Чужой – понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

– Не сердись, – повторил он и шепотом, на ухо, добавил: – Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

– Уйди! – кричала она, натываясь на меня.



– Вы зачем прогнали его?

– А ты поговори!

– Дураки вы все, – сказал я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

– Да ты ошалел, пострел!

– Не ты, а все другие дураки, – поправился я, но это ее не успокоило.

За ужином дед говорил:

– Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его, – нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, – лучших людей ее...

## Глава IX

В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание – все-таки мед.

После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Петр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, борода вислась кольцами; он курил трубку, дым ее – одного цвета с волосами – тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.

– В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьян, свет, Лексевна, – «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «Помогай садовнику!» Ладно; только как мужика ни положи – все не хорош! В другое время она говорит: «Тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня все едино, я и рыбу... Однако только я пристрастился – прощай, рыба, спасибо; а мне – в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну, что ж, в извозчики, а – еще как? А еще уж ничего не успели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.

Была она старенькая, и точно ее, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр, – начал, да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она – из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.

Дед сказал ему однажды:

– Ты что это скота христианским именем зовешь?

– Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет – Танька, а есть Татиана!

Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось – Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконноваша, неправдоваша».

– Ино дело – по-моему, ино – по-твоему! – горячился дед, багровея, и дразнил: – Ваша, шиша!

Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:

– А чем лучше хомы твои? Нисколько они богу не лучше! Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе – грош!

– Уйди, Лексей! – яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами.

Петр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, – откидывал и упрекал вдогонку:

– Лишняя вещь, а – мешаешь!

Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.

– Ты – что, дядя Петр?

– Отойди, – говорил он глухо и строго.

В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане ее; я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:

– Не стоит.

Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.

И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр – если был дома – поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушинный хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка; пройдет, воротится назад – и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним – белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мертвый дом Овсянникова не показывает никого.

Иногда дядя Петр гуляет без успеха, – охотник, видимо, не признает его дичью, достойной выстрела, но порою двуствольное ружье бухает, раз за разом:

– Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и, очень довольный, говорит:

– В полу хлестнул!

Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра:

– Что ты ему дикому потекаешь? А ну он глаз тебе выбьет!

– Не-е, никак, Акулина Иванна, – пренебрежительно тянул Петр. – Он стрелок никакой...

– Да ты-то пошто балуешь его?

– Я разве балую? Мне охота подразнить барина...

И, разглядывая на ладони извлеченные дробинки, он говорил:

– Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, – она мужьев меняла вроде бы лакеев, – так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну – он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонт Ильич наведет пистолет – бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил – дернулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали врача, сейчас он ногу отчекрыжил – готово! Схоронили ее...

– А дурачок?

– Он – ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк, и понытчик, коли дурак – так не обидчик...

Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:

– А до смерти убить может барин?

– Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга быют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту – в самую печень! Мамонта – на погост, улана – на Кавказ, – вот те и вся недолга! Это они – сами себя! А про мужиков и прочих – тут уж нечего говорить!

Теперь им – поди – особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде все-таки жалели – свое добро!

– Ну, и тогда не больно жалели, – говорит бабушка.

Дядя Петр соглашается:

– И это верно: свое добро, да – дешевое...

Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбоину и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько.

– Как жить будем, сударик? В солдаты пойдешь али в чиновники?

– В солдаты.

– Это – хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе – осподи помилуй – да и вся недолга! Попу даже легче, чем солдату, а еще того легче – рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо – была бы привычка!..

Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.

– Вот ты сердишься, когда тебя дедушко высекает, – утешительно говорил он. – Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сечение – детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна – ну, она секла знаменито! У нее для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своем, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.

Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крылечке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.

– И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа – синяя, бороду брил. И не то он – дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды в чашку, поймает муху, а то – таракана, жука какого и – топит их прутиком, долго топит. А то – собственную серую изымет из-за шивороты – ее топит...

Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:

– Расскажи другое!

Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:

– Ладно, жадный, – другое. Вот был у нас повар...

– У кого?

– У графини Татьян Лексевны.

– Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина?

Он смеялся тоненько.

– Конечно – барыня она, однако – были у ней усики. Черненькие, – она из черных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот – повар; это, сударик, будет смешная история...

Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть ее всю сразу; он съел и захворал.

Я сердился:

– Это вовсе не смешно!

– А что смешно? Ну-ко, скажи!

– Я не знаю...

– Тогда – молчи!

Он снова плел скучную паутину.

Иногда, по праздникам, приходили в гости братья – печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя вдвоем по крышам построек, мы увидели на дворе Бетленга барина в меховом зеленом сюртуке; сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая, лысая, желтая голова была не покрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составил остроумный план кражи: братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.

– Как испугать?

Один из братьев предложил:

– Ты поплюй ему на лысину!

Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.

Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, ее вел молодой, красивый офицер, а так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, – дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежал в кухне на полатах, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр.

– Это ты ловко удумал, сударик! – шептал он. – Так ему и надо, старому козлу, так его, – плюй на них! Еще бы – камнем по гнилой-то башке!

Предо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но – все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сек меня.

– Уйди! – закричал я, сталкивая Петра руками и ногами.

Он захихикал, замигал и слез с полатей.

С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и в то же время начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.

Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова, мне казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок.

В доме Бетленга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.

– Еретики, безбожники, – говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.

Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.

Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них – мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.

Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик с баками и кривым носом выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков; одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал – они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

– Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

Однажды я влез на дерево и свистнул им, – они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:

– Дети, марш домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, – а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся; тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя.

– Раз, – кричал старший, – два...

Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла.

Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича:

– Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью; он сказал:

– Тихонько, пожалуйста!..

Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

– Ка-ак я па-ада-ал...

– Ты с ума сосол, вот сто, – сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

– Идем, все равно не скроешь...

– Вас будут бить? – спросил я.

Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:

– Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:

– Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь – не надо!

– Да, не надо, – согласился младший, вздрагивая. – Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Все это разыгралось так быстро, что, когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, – он еще качался, сбрасывая желтый лист.

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково:

– Иди к нам!

Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, присматриваясь друг ко другу, долго беседовали.

– Били вас? – спросил я.

– Досталось, – ответил старший.

Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.

– Зачем ты ловишь птиц? – спрашивал младший.

– Они поют хорошо.

– Нет, ты не лови, пускай лучше они летают, как хотят...

– Ну, ладно, не буду!

– Только ты прежде поймай одну и подари мне.

– Тебе – какую?

– Веселую. И в клетке.

– Значит – это чиж.

– Коска съест, – сказал младший. – И папа не позволит.

Старший согласился:

– Не позволит...

– А мать у вас есть?

– Нет, – сказал старший, но средний поправил его:

– Есть, только – другая, не наша, а нашей – нет, она померла.

– Другая называется – мачеха, – сказал я; старший кивнул головою:

– Да.

И все трое задумались, стемнели.

По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:

– Еще вернется родная-то, погодите!

Старший пожал плечами:

– Если умерла? Этого не бывает...

Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их sprysnut' живою водой, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!

Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории; старший сначала все усмехался и говорил тихонько:

– Это мы знаем, это – сказки...

Его братья слушали молча, маленький – плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, – наклонился ко мне и пригнул брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно за вечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.

– Это кто такое? – спросил он, указывая на меня пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:

– Он – оттуда...

– Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.

Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:

– Не смей ходить ко мне!

Я рассердился:

– Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!

Длинной рукою своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:

– Твой дед дома?

На мое горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:

– Мать у него – в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, – уж вы простите, полковник!

Полковник крикнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел, а меня, через некоторое время, выбросили на двор, в телегу дяди Петра.

– Опять нарвался, сударик? – спрашивал он, распрягая лошадь. – За что бит?

Когда я рассказал ему – за что, он вспыхнул и зашипел:

– А ты нашто подружился с ними? Они – барчуки-змееныши, вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй – чего глядеть!

Он шипел долго; обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной неповинны.

– Их бить – не нужно, они хорошие, а ты врешь все, – сказал я.

Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:

– Пошел прочь с телеги!

– Дурак ты! – крикнул я, соскочив на землю.

Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать, бегал и неестественно кричал:

– Дурак я? Вру я? Так я ж тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:

– Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня – по матушке и всяко... и вралем...

Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала:

– Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь, – зазорно он тебя не ругал!

Дедушка поверил бы извозчику.



С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался, однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном – на сношениях с барчуками; ловил и шел ябедничать к деду.

Знакомство с барчуками продолжалось, становясь все приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.

Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце, – по крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей.

Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:

– Бабушки, должно быть, все очень хорошие, – у нас тоже хорошая была...

Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он – тонкий, хрупкий, а глаза – очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним, – всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.

Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр, разгонял нас тягучим возгласом:

– О-опя-ать?

Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы: обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.

Его немой племянник уехал в деревню жениться; Петр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака, – из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь не гася лампу, что очень не нравилось деду.

– Гляди, сожжешь ты меня, Петр!

– Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, – отвечал он, глядя в сторону.

Он теперь вообще смотрел все как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.

Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь, – вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал:

– Здесь! Когда? Дай бог память...

И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:

– Господи помилуй, неужто?

– Тише, – строго сказал полицейский.

Дед оглянулся, увидал меня.

– Прибери лопаты да ступай домой!

Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:

– Он понимает; лошадь бросил, а сам – скрылся вот...

Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою; выслушав меня, она спокойно сказала:

– Украл, видно, чего-нибудь... Иди, гуляй, что тебе!

Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ошетилившееся, и одна нога дрожала.

– Я сказал – пошел домой! – крикнул он мне, притопнув.

И сам пошел за мною, а войдя в кухню, позвал:

– Подь-ка сюда, мать!

Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.

– Ты чего испугалась?

– Молчи, знай, – тихонько ответила она.

Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более стужали тревогу.

– Ты, мать, зажги-ко лампадки везде, – приказывал дед, покашливая.

Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щеки, кричал и ворчал:

– Силен дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто, и церковник, а – на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойней, тяжелее.

Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» – он отвечал не сразу и густо:

– У нас до всего дознаются, не беспокойсь!

Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.

Вдруг в сенях тяжело зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:

– Глядите, что у вас на задах-то!

Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал:

– Постой, – кто такая? Чего глядеть?

Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами:

– Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?

Тут яростно закричал дед, топая ногами:

– Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нем нет, врешь! Ничего у нас нет!

– Батюшка! – выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. – Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу – лежит он...

– Кто-о?

Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад, – там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиной к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, темные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:

– Не топчите следов!

Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:

– А ты зря орешь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, – эх, вы-и!

И все сразу замолчали, все усталились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:

– Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом...

– Что он сделал? – спросил я; она ответила:

– Али не видишь...

Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крикая, точно утка:

– Как? Как?

Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:

– Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой – вовсе не немой и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церквы они грабили давным-давно, это главное их мастерство...

– О, Господи, – вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежал на полатах, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными...

## Глава X

Однажды в субботу, рано утром, я ушел в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованному насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.

Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет, улетаая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...

Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошел домой, – ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряженных в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, – у меня дрогнуло сердце.

– Кого привез?

Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:

– Попа!

Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.

– Эх, курочки-и! – закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова:

– Что же теперь – убить меня надо?

Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:

– Мать приехала, ступай! Постой... – Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: – Иди, иди...

Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный.

– Вот он, – говорила мать. – Господи, какой большущий! Что, не узнаешь? Как вы его одеваете, ну уж... Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусяного сала скорей...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застегивали большие черные пуговицы от плеча и – наискось – до подола. Никогда я не видел такого платья.

Лицо ее мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и блее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, ее малиновые губы брезгливо кривились, и все звучал командующий голос:

– Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка...

Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от нее исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки:

– Своевольник он, совсем от рук отбил, даже дедушку не боится... Эх, Варя, Варя...

– Ну, не нойте, мамаша, обойдется!

В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжелой, теплой рукой, она говорила:

– Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?

– Я уж выучился.

– Еще немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?

И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.

Вошел дед, серый, ошетилившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:

– Ну, что же, папаша? Уезжать?

Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле, долго молчал, все вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда, в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.

– Лексей, поди вон, – глухо сказал дед.

– Зачем? – спросила мать, снова привлекая меня к себе.

– Никуда ты не поедешь, запрещаю...

Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.

– Папаша, послушайте...

Он обернулся к ней, взвизгнув:

– Молчи!

– Ну, а кричать на меня я вам не позволю, – тихо сказала мать.

Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:

– Варвара!

А дед сел на стул, забормотал:

– Постой, я – кто? А? Как это?

И вдруг взревел не своим голосом:

– Опозорила ты меня, Варька-а!..

– Уйди, – приказала мне бабушка, я ушел в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то – говорили все сразу, перебивая друг друга, то – молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросив его, или за то, что не привезла ему ребенка?

Потом он вошел в кухню востропанный, багровый и усталый, за ним – бабушка, отирая полою кофты слезы со щек; он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустила на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:

– Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина, – гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен...

Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:

– Ну, да, еще бы! А как же? Ты кого не простишь, ты – всех простишь, ну, да-а, эх, вы-и...

Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро:

– А господь, не бойсь, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а – ни покоя, ни радости нет и – не быть! И – помяни ты мое слово! – еще нищими подохнем, нищими!

Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.

– Эка беда! Чего испугался – нищими! Ну, и – нищими. Ты, знай, сиди себе дома, а по миру-то я пойду, – не бойсь, мне подадут, сыты будем! Ты – брось-ка всё!

Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:

– Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, – ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы...

Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:

– Ах ты, бесеныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого черта, злого, – прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, – прочь? Эх, вы-и...

Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:

– Отходят все, все в сторону норовят – все врозь идет... Ну, зови ее, что ли! Скорее уж...

Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:

– Всемиловитый Господи, ну – вот, видишь, вот!

И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.

Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.

Уставший от волнений, я крепко заснул на полатах.

Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навывпуск, подмигнула и сказала матери:

– Ты гляди, каков отец-то, – козленок чистенький!

Мать весело засмеялась.

Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:

– Иди ко мне! Ну, как ты живешь – плохо, а?

Как я жил?

– Не знаю.

– Дедушка бьет?

– Теперь – не очень уж.

– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?

Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот, в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:

– Ну, а еще что?

Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.

– Экая дрянь...

И замолчала, прищуясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:

– За что дед сердился на тебя?

– Я пред ним виновата.

– А ты бы привезла ему ребенка-то...

Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.

– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стучая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.

На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.

– Ты когда ложишься спать?

– Немножко погодя.

– Впрочем, ты днем спал, – вспомнила она и вздохнула. Я спросил:

– Ты уйти хочешь?

– Куда же? – удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.

– Ты что это?

– Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.

– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?

– Да.

– Она очень любила Максима, – очень! И он ее тоже...

– Я знаю.

Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:

– Так лучше!

Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.

– А где ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате, бесшумно, как ястреб.

– А где ты взяла такое платье?

– Сама сшила. Я все себе делаю сама.

Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.

Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.

Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них – «Родному слову» – я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,  
Простора немало берешь ты у бога.  
Тебя не ровняли топор и лопата,  
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».

– Ну, подумай, – внушала мать, – чего – простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?

Я понимал и все-таки читал «простого», сам себе удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, – неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.

Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недорога,  
Копыта, попы-то, корыто...

Опомнился я поздно: мать, упиравшись руками в стол, поднялась и спросила отдельно:

– Это что такое?

– Не знаю, – сказал я, обомлев.

– Нет, все-таки?

– Это – так.

– Что – так?

– Смешно.

– Поди в угол.

– Зачем?

Она тихо, но грозно повторила:

– В угол!

– В какой?

Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая – чего ей надо? В углу под образами торчал круглый столик, на нем ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвертого – не было, косяк двери стоял вплоть к стене.

– Я не знаю, что тебе надо, – сказал я, отчаявшись понять ее.

Она опустила, помолчала, потирая лоб и щеки, потом спросила:

– Тебя дедушка ставил в угол?

– Когда?

– Вообще, когда-нибудь! – крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.

– Нет. Не помню.

– Ты знаешь, что это наказание – стоять в углу?

– Нет. Почему – наказание?

Она вздохнула.

– Ф-фу! Поди сюда.

Я подошел, спросив ее:

– Зачем ты кричишь на меня?

– А ты зачем нарочно перевираешь стихи?

Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если буду читать – подвернутся другие слова.

– Ты не притворяешься?

Я ответил – нет, но тотчас подумал: «А может быть, притворяюсь?» И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

– Как же это? – спросила она чужим голосом. – Значит – притворялся?



– Не знаю. Я не хотел...

– Трудно с тобой, – сказала она, опуская голову. – Ступай!

Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко – ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение – кажется, князя Вяземского:

И вечерней и ранней порою  
Много старцев, и вдов, и сирот  
Христа ради на помощь зовет,

а третью строку

Под окошками ходят с сумою

я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:

– Балует! Память у него есть: молитвы он тверже моего знает. Врет, память у него – каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты – выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

– Сказки – помнит, песни – помнит, а песни – не те ли же стихи?

Все это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи – откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки.

Как у наших у ворот  
Много старцев и сирот  
Ходят, ноют, хлеба просят,  
Наберут – Петровне носят,

Для коров ей продают  
И в овраге водку пьют.

Ночью, лежа с бабушкой на полатах, я надоедно твердил ей все, что помнил из книг, и все, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня.

– Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже...

Я бормотал:

Не люблю нищих,  
И дедушку – тоже,  
Как тут быть?  
Прости меня, боже!  
Дед всегда ищет,  
За что меня бить...

– Что ты говоришь, отсохни твой язык! – сердилась бабушка. – Да как услышит дед эти твои слова?

– Пускай!

– Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и без тебя не больно хорошо, – задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

– Отчего ей нехорошо?

– Молчи, знай! Не понять тебе...

– Я знаю, это дедушка ее...

– Молчи, говорю!

Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились все обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, – я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она все более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая – лучше всех!

Во время уроков она смотрела углубленными глазами через меня – в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и все чаще сердилась, кричала – это тоже обидно: мать должна быть справедлива, больше всех, как в сказках.

Иногда я спрашивал ее:

– Тебе нехорошо с нами?

Она сердито откликалась:

– Делай свое дело.

Я видел также, что дед готовит что-то пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобокого пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом:

– Этого не будет, нет!

И хлопнула дверь, а дед – завыл.

Это было вечером; бабушка, сидя в кухне, у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

– К постояльцам ушла, о, Господи!

Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил ее по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку:

– Не болтай чего не надо, ведьма!

– Старый ты дурак, – спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. – Буду я молчать, как же! Всегда все, что узнаю про затеи твои, скажу ей...

Он бросился на нее и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

– Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!

Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъяренный дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову ее ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплевываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе, на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:

– Подбери подушки и все да поклади на печь! Надумал тоже: подушками швырять! Твое это дело? И тот, старый бес, разошелся, – дурак!

Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:

– Взгляни-ка, чего это больно тут?

Я разобрал ее тяжелые волосы, – оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил ее, нашел другую, у меня онемели пальцы.

– Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

– Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты – на-ко! Пошел ин прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой черной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи еще две толстые, изогнутые шпильки.

– Больно тебе?

– Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь – пройдет.

И стала просить меня ласково:

– А ты, голуба душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?

– Нет.

– Ну, помни же! Давай-ко, уберем тут все. Лицо-то не избито у меня? Ну, ладно, стало быть, все шито-крыто...

Она начала подтирать пол, а я сказал от души:

– Ты – ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе – ничего!

– Что глупости мелешь? Святая... Нашел где!

Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал – как бы отомстить деду за нее?

Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы; в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидел, что он, сидя на полу перед открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы – двенадцать листов толстой серой бумаги, разделенных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате – фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них – Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и еще многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нем: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.

Но теперь я решил изрезать эти святцы и, когда дед отошел к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и – стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд – явился дедушка, встал на приступок и спросил:

– Тебе кто позволил святцы взять?

Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.

– Что ты сделал? – крикнул он наконец, и за ногу дернул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком ее, меня и визжал:

– Убью-у!

Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, лоя и отталкивая руки деда, летавшие перед ее лицом:

– Что за безобразие! Опомнитесь!..

Дед повалился на скамью, под окно, завывая:

– Убили! Все, все против меня, а-а...

– Как вам не стыдно? – глухо звучал голос матери. – Что вы всё притворяетесь?

Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему – стыдно матери, что он – действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.

– Наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее, – говорила мать, разглядывая обрешки и листы. – Видите – измято все, слежалось, рассыпается...

Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:

– Сегодня же и наклею! Я тебе сейчас остальные листы принесу...

Пошел к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:

– А его надо сечь!

– Следует, – согласилась мать, наклонясь ко мне. – Зачем ты сделал это?

– Я – нарочно. Пусть он не бьет бабушку, а то я ему еще бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

– Промолчал, как обещано было!

И плюнула на пол:

– Чтoб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!

Мать поглядела на нее, прошла по кухне, снова подошла ко мне.

– Когда он ее бил?

– А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? – сердито сказала бабушка.

Мать обняла ее.

– Эх, мамаша, милая вы моя...

– Вот те и мамаша! Отойти-ка...

Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.

В первые же дни по приезде мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга – красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:

– Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.

Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали – привез откуда-то два воза разной мебели, расставил ее в передних комнатах и запер большим, висячим замком:

– Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!

И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая, крикливая прачка, в шелковом полосатом платье и золотистой головке, с нею – сыновья: Василий – чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пестрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, – еще в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:

– Андрей-папа, Андрей-папа...

Это очень удивляло и пугало меня.

Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем, воткнутом в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:

– Не утруждайтесь, все равно-с...

Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окруженная солдатами и народом, черная, высокая телега, и на ней – на скамье – сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами, – человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», – я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.

– Не утруждайтесь, – сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и – отпустил, одобряя:

– Ничего, мальчик крепкий...

Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать, – дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, – забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие, оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, – казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масляные губы. Все это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.

Пили чай с ромом, – он имел запах жженных луковых перьев; пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую; ели ядреный варенец, сдобные, медовые лепешки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.

Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:

Эх, пожили, как умели,  
На весь город на шумели, —  
Ба-арыне из Казани  
Все подробно рассказали...

Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:

– Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:

– Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова.

Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:

– Да-а, над этим надо думать...

А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:

– Андрей-папа, Андрей-папа...

Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:

– Это он из киятра взял, это там поют...

Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днем, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером; неожиданно и быстро приоткрылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:

– Варя – пришел!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:

– Одевайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

– Куда?

– Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своем деле – мастер и Лексею – хороший отец...

Дед говорил необычно важно и все гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них.

Мать спокойно перебила:

– Я вам говорю, что этому не бывать...

Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, оцетинившись, и захрипел:

– Иди! А то – поведу! За косы...

– Поведете? – спросила мать, вставая; лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду: – Ведите!

Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:

– Варвара, одевайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

– Ну – идемте!

– Прокляну, – шепотом сказал дед.

– Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал:

– Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныл:

– Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу, она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы:

– Варька, дура, – что ты? Пошла, бесстыдница!

Втолкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

– У-у, старый бес, бестолковый!

Посадила его на диван, он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:

– Оденься, ты!

Поднимая с пола платье, мать сказала:

– Я не пойду к нему, – слышите?

Бабушка столкнула меня с дивана:

– Принеси ковш воды, скорей!

Говорила она тихо, почти шепотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени, в передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос:

– Завтра уеду!

Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.

Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени – из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, глядя рукою меховую шапку и крикая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:

– Сами знаете – насильно мил не будешь...

Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то – смеясь.

– Что ты? – спросил я, подбежав.

Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:

– Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!

И ушла в комнату матери, а я – снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.

День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стекла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с темно-зеленой дедовой водкой, настоящей на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворечне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали веселые, ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но веселый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был не нужен, и все было не нужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки – вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь.

– А, оканные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина...

Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.

– Ну – засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!

И – заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стучая пальцами по сухим коркам, большие слезы грузно шлепались на них.

В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.

– Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрывки!

Мать, веселая и спокойная, обняла ее, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затекшие глаза.

– Ладно, ничего! Едали хорошие пироги. Господь – скуповат, он за года минутами платит... Он процента не признает. Садись-ка, Варя... ладно!

Он был словно безумен, все время обеда говорил о боге, о нечестивом Ахаве, о тяжелой доле быть отцом, бабушка сердито останавливала его:

– А ты – ешь, знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

– Что, испугался давеча? – спросила она, толкнув меня.

Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.

Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что все это они делали серьезно и что им трудно плакать. И слезы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, все меньше возбуждали меня, все слабее трогали сердце.

Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.

В бесконечных буднях и горе – праздник, и пожар – забава; на пустом лице и царапина – украшение...

## Глава XI

После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих не похоже на себя.

Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его – что это за книга? – он внушительно отвечал:

– Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру – откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.

Он стал говорить с матерью мягче и меньше, ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь:

– Ну, ладно! Делай, как хошь...

В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:

– В наши-те годы одежда куда красивей да богаче нынешней была! Одежда богаче, а жили – проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись...

Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кикю; низко поклонясь деду, она спросила:

– Ладно ли, сударь-батюшка?

Дед крикнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:

– Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди...

Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы: Петр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого, гладкого лба волнистые, длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:

– Видите ли, как я думаю...

Мать слушала его прищурившись, усмехаясь и часто прерывала:

– Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините...

Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:

– Именно же ребенок...

Шумно и весело прошли на Святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженные, она сама рядилась – всегда лучше всех – и уезжала с гостями.

Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скупно. Старой гусыней плавала по комнатам



бабушка, приводя все в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе:

– Ну, – ладно, хорошо... Поглядим, что за дым...

После Святков мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос:

– «Как твоя фамилия?» – нельзя ответить просто:

– «Пешков», – а надобно сказать:

– «Моя фамилия – Пешков».

А также нельзя сказать учителю:

– «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...»

Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:

– Не буду-у...

Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:

– Ты – иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но, скрепя сердце, пошел учиться, – не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.

Нас привлекли к суду, – в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас, – помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:

– Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:

– Забыл, где оно.

– Забыл?

– Да. Искал-искал...

– Ты бы за Лексеем шел, он помнит!

– Я его потерял.

– Лексея?

– Да.

– Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

– Метель была, ничего не видно.

Все засмеялись, – погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

– Ты бы за руку его держал, за пояс?

– Я – держал, да меня оторвало ветром, – объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.

Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, – он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой.

Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полатах, задрал ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

– Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, – что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, – тогда вы все и узнаете... Бежим вместе?

Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача – я решил быть офицером с большой, светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:

– Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

– И я тебя тоже.

На этом и порешили.

Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:

– Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!

Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши – толстую тетку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынный Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, —

Извела молодая жена:  
Напоила его крепкой брагою,  
А еще – сонным зелием.  
Положила его, сонного,  
Во дубовый челн, как во тесной гроб,  
А взяла она весельце кленовое,  
Сама выгребла посередь озера  
Что на те ли, на темные омуты,  
На бесстыжее дело ведьмино.  
Там нагнулася, покачнулася,  
Опрокинула ведьма легок челн.  
Муж-от якорем на дно пошел,  
А она поплыла скоро к берегу,  
Доплыла, пала на землю  
И завывала бабьи жалобы,  
Стала горе лживое сказывать,  
Люди добрые ей поверили,  
С нею вместе горько плакали:  
– Ой же ты, молодая вдова!  
Велико твое горе женское,  
А и жизнь наша – дело божие,  
А и смерть нам богом посылается!

Только пасынок Ионушко  
Не поверил слезам мачехи,  
Положил он ей ручку на сердце,  
Говорил он ей кротким голосом:

– Ой ты, мачеха, судьба моя,  
Ой ты, птица ночная, хитрая,  
А не верю я слезам твоим:  
Больно сердце у тебя бьется радостно!  
А давай-ко ты, спросим господу,  
Все святые силы небесные:  
Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож  
Да подбросит его в небо чистое,  
Твоя правда – нож меня убьет,  
Моя правда – на тебя падет!

Поглядела на него мачеха,  
Злым огнем глаза ее вспыхнули,  
Крепко она встала на ноги,  
Супроти Ионы заспорила:

– Ах ты, тварь неразумная,  
Недоносок ты, выбросок,  
Ты чего это выдумал?  
Да ты как это мог сказать?

Смотрят на них люди, слушают.  
Видят они – дело темное.  
Приуныли все, призадумались,  
Промежду собой совещаются.  
После вышел рыбак старенький,  
Поклонился во все стороны,  
Молвил слово решенное:

– А вы дайте-ко, люди добрые,  
В праву руку мне булатный нож,  
Я воскину его до неба,  
Пусть падет, чья вина – найдет!

Дали старцу в рученьку острый нож,  
Взбросил он его над седой головой,  
Птицею нож полетел в небеса,  
Ждут-пождут – он не падает.  
Смотрят люди во хрустальную высь,  
Шапки поснимали, тесно стоят,  
Все молчат, да и ночь нема, —  
А нож с высоты все не падает!  
Вспыхнула на озере алая заря,  
Мачеха зарделась, усмехнулася,  
Тут он быстрой ласточкой летит к земле —  
Прямо угодил в сердце мачехе.

Встали на колени люди добрые,  
Господу богу помолилися:

– Слава тебе, Господи, за правду твою! —  
Старенький рыбак взял Ионушку  
И отвел его в далекий скит,  
Что на светлой реке Керженце,  
Близко невидима града Китежа...<sup>1</sup>

На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, — от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, — только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, — бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел ее; она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза.

Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слышал, как я бил стекла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стеклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей.

Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков, — под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены — ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.

Приходила бабушка; все чаще и крепче слова ее пахли водкой, потом она стала приносить с собой большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

– Ты, голуба душа, деду-то, домовому, не сказывай!

– Зачем ты пьешь?

– Нишкни! Вырастешь — узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

– Ну и вот, сударь ты мой, про что, бишь, я вчера сказывала?

– Про отца.

– А какое место?

Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

– Видела я во сне отца твоего, идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Савватейч сниться мне стал, — видно, беспокойна душенька его неприятная...

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории.

---

<sup>1</sup> В селе Колюпановке Тамбовской губ. Борисоглебского уезда я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. (Примеч. М. Горького.)

Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его.

– Маленьких всегда бьют? – спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

– Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крестный – столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика – столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

– Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, – говорила бабушка, посмеиваясь. – Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а – босый, без шапки, на длинных волосьях – ремешок. Это он – свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу – подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошел: «Что это ты, молодец, непутем ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот – Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подает, а у самой – слезы на глазах. «Ах, вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты березу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то еще не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, – гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду, только ты помоги нам» – это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: «Хоть камнем, говорит, бей, а – помоги, все равно я-де не отступлюсь!» Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатила, – ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табак, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув:

– Ты этого еще не можешь понять, что значит – жениться и что – венчаться, только это – страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя незаконно, – запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:

– Ну, как же тут быть? Я Максима – по лбу, я Варвару – за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться – после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» – «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». – «Что же это у тебя – трешница была?» – «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи – дешевы, гляжу я на них, на мать твою с отцом – экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидели, его можно продать!» Ну, совсем еще дети! Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама – реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе – жутко. Ну, наладились!

Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим – поехали! Иду я домой во слезах – вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» – «Ты, говорит, обещай!» – «Как это – обещать, а где я их после-то возьму?» – «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе! Он – вперед меня забежал на двор и – поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

– Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, – шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнем охвачен, вызвал Якова с Михайлой, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я – кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло – ружье схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас – легкие, – ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, – добыла я нож да гужи-то оглобель и подрезала, авось, мол, лопнет дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви – Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те, Господи!

Пошли было наши-то боем на Максима, ну – он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковым да мастером этим – забоялись его.

Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть, хошь – живи, хошь – с голоду издохни». Воротился он – давай меня бить, давай ругать, я только побряхтываю да помалкиваю: все пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно свое думаю: ври больше, рыжий, – злоба – что лед, до тепла живет!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, – не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

– Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонка бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они – ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатакала тихонько у деда – ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берет ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Вар-

вара поет под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурю: «Дурачишко, говорю, я тебе – кто? Я тебе – богоданная мать, а тебе, дурехе, – кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают – в небесах мать божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да еще приплясывает, – силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и все таково важно про хозяйство рассказывает, будто всамделишная баба, – уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог – дресвой рассыпается!

Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко все молчит, – упрям, домовый! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в доме запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое – отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час – ночь, вьюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой – не спится, я и скажи: «Плохо бедному в такую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце беспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» – «Ничего, мол, хорошо живут». – «Я, говорит, про кого это спросил?» – «Про дочь Варвару, про зятя Максима». – «А как ты догадалась, что про них?» – «Полно-ка, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну – кому от нее весело?» Вздыхает он: «Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом – выпрашивает: что, дескать, дурак этот большой, – это про отца твоего, – верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлом поглядел – не эти ли дураками-то живут? Кто в доме работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он – ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошел бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». – «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.

Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка – а дед ему по плечо, – встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое, нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно! И сразу началось у них зуб за зуб – никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом – нет, он все свое! Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови – темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развеселая была озорница – бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солены уши?» И возмемся, играем трое; хорошо жили мы, голуба душа! Плясал он тоже редко, песни знал хорошие – у слепых перенял, а слепые – лучше нет певцов!

Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень – отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать – замаяла просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребенка родить! Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился, – дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»

А дядя твои не любили его, – вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, – горько они ему отрыгнулись! Как-то, о Великом посте, заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно – все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегают, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг все прекратилось; еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался: «Это, говорит, наверное, Максимом сделано!» После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, – ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь – волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза – хорошо выходило! Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг – бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено – ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет – волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнем, – глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он – хоть бы что! Пригляделись – одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно – горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову – нос, глаза, рот сделает, пакли налепит заместо волос, а потом идут с Яковым по улице и рожи эти страшные в окна суют – люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам – в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила – бросьте, и Варя тоже, – нет, не унимаются! Смеется Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди, говори с ним...

И отдалось все это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку – обидчивый, злопамятный, и задумал он известить отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядя да дьячок один – его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили, да и столкнули его в прорубь, – я тебе рассказывала это...



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.